

А. П. ЧЕХОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

СБОРНИК

Под редакцией
А. К. КОТОВА

О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 4 7

А. П. ЧЕХОВ

Немало было встреч у меня с Чеховым, немало бесед и разговоров, но при имени Антона Павловича всегда с особенной ясностью вспоминаются мне две наши встречи: самая первая и самая последняя, и два его образа: молодого, цветущего, полного жизни — и затем безнадежно больного, умирающего, накануне отъезда его за границу, откуда он уже не вернулся живым.

Я был еще юношей, лет двадцати, когда впервые встретился с ним, в то время тоже еще молодым человеком и писателем, только что замеченным. В ту осень 1887 года вышла его книга рассказов «В сумерках» — первая за подписью «Антон Чехов», а не «Чехонте», как раньше. Он только что выступил на настоящую литературную дорогу. Тогдашняя критика высокомерно молчала; даже «нововременский» зубоскал Буренин, критик той же газеты, которая издала эту книжку, отметил ее появление таким четверостишием:

Беллетристику-то — эх, увы!
Пишут Минские да Чеховы,
Баранцевичи да Альбовы;
Почитаешь — станет жаль Бовы!

Несмотря на молчание критики, читатели живо интересовались молодым писателем и сумели верно понять Чехова и оценить сами, без посторонней помощи.

С рассказами Чехова, так называемыми «Пестрыми рассказами», мне пришлось познакомиться довольно ра-

но, почти в самом начале выступлений Анто́на Павловича, когда он писал под разными веселыми псевдонимами в «Стрекозе» и «Будильнике». Потом на моей памяти, на моих глазах, так сказать, он начал переходить с юмористики на художественные темы. В то время он был известен все еще не столько как Чехов, а попрежнему — как Чехонте, автор коротеньких веселых рассказцев. И слышать о нем приходилось не что-нибудь существенное и серьезное, а больше пустячки да анекдотики, вроде того, например, будто Чехов, нуждаясь постоянно в веселых сюжетах и разных смешных положениях для героев, которых требовалось ему всегда множество, объявил дома, что станет платить за каждую выдумку смешного положения по десять копеек, а за полный сюжет для рассказа по двадцать копеек, или по «двугривенному», как тогда говорилось. И один из братьев сделался будто бы усердным его поставщиком. Или рассказывалась такая история: будто бы в доме, где жили Чеховы, бельэтаж отдавался под балы и свадьбы, поэтому нередко сквозь потолок вниз доносились звуки вальса, кадрили с галопом, польки-мазурки с назойливым топотом. Чеховская молодежь, если бывали все в духе, начинала шумно изображать из себя приглашенных гостей и весело танцевать под чужую музыку, на чужом пиру. Не отсюда ли вышел впоследствии известный рассказ «Свадьба» и затем водевиль на ту же тему?..¹

В своих воспоминаниях о Чехове А. И. Куприн, между прочим, приводит такие слова самого Анто́на Павловича обо мне: «Вы спросите Телешова сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у Белоусова»².

И, действительно, мы именно гуляли. Свадьба была веселая, шумная; много было молодежи; веселились и танцевали почти без отдыха всю ночь. А потом ужинали — чуть не до утра.

В то время я был совершенно чужой в литературном мире. Не только не был ни с кем знаком, но ни с одним настоящим писателем даже не встречался. Знал их только по книгам.

И вот, в разгаре свадебного шума, Белоусов подвел меня к высокому молодому человеку с красивым

лицом, с русой бородкой и ясными, немного смешливыми глазами, будто улыбающимися:

— Чехов.

Я уже знал, читал и любил его рассказы, только что собранные в первую книжку. Слышал также, что Григорович, маститый старец и крупный писатель того времени, однажды сам пришел к Чехову — познакомиться с ним, как с молодым собратом, которому пророчил большое и славное будущее, приветствуя в нем новый литературный талант, настоящий талант, выдвигающий его далеко из круга литераторов нового поколения.

И это внимание Григоровича, и личное впечатление от прочитанных рассказов, и первая в жизни встреча с настоящим писателем настроили меня восторженно. Хотелось сейчас же заговорить с ним о его книге, о том новом в литературе, что он дает, но Чехов предупредил меня иным, совершенно неожиданным вопросом:

— Вы в карты не играете? В стуколку?

— Нет.

— А со мной вот пришел Гиляровский. Жаждет поиграть в стуколку, да не знает — с кем. Вы знаете Гиляровского? Дядю Гиляя?.. Да вот и он! — как говорят актеры в самых бездарных водевилях.

Подошел Гиляровский — познакомились. Он был во фраке, с георгиевской ленточкой в петлице. В одной руке держал открытую серебряную табакерку, другой рукой посылал кому-то через всю комнату привет, говорил Чехову рассеянно что-то рифмованное и веселое и глядел на меня в это время, но меня, кажется, не замечал, занятый чем-то иным. Не успели мы и двух слов сказать для первого знакомства, как загремела опять музыка, и меня, как молодого человека, утащили танцевать.

— Идите, идите. А то на нас барышни будут из-за вас обижаться, — сказал мне вслед Антон Павлович.

На этом, может быть, и кончилось бы наше знакомство, если б Антон Павлович в конце ночи, после торжественного свадебного ужина с мороженым и шампанским, не подошел ко мне сам и не позвал с собою.

— Скоро уж утро, — сказал он. — Гости разъезжаются. Пора и нам уходить. Мы вот с Гиляем надумали пойти чай пить... в трактир. Хотите с нами? Скоро теперь трактиры откроются — для извозчиков.

И мы пошли.

Нас было четверо: присоединился к нам ещё младший брат Чехова, Михаил Павлович, в то время студент. Наняли двух извозчиков и поехали разыскивать ближайший трактир. Где-то неподалеку, в одном из переулков, засветились окна маленького трактира. Зимнее морозное утро только что начиналось. Было еще темно.

Трактир оказался грязный, дешевый.

— Это п хорошо,—говорил Антон Павлович.—Если будем хорошие книги писать, так в хороших ресторанах еще насидимся. А пока по нашим заслугам и здесь очень великолепно.

Про внешность Чехова в ту пору правильно было сказано: «при несомненной интеллигентности лица, с чертами, напоминавшими простодушного деревенского парня, с чудесными улыбающимися глазами». Может быть, такое выражение, как «улыбающиеся глаза», покажется слишком фигуральным, но, кроме Чехова, я ни у кого не встречал таких глаз, которые производили бы впечатление именно улыбающихся.

Благодаря тому, что все мы были одеты во фраки, нас принимали здесь за свадебных официантов, закончивших ночную работу,—и это очень веселило Чехова.

Сели за стол, покрытый серой, не просохшей с вечера скатертью. Подали нам чаю с лимоном и пузатый чайник с кипятком. Но от нарезанных кружочков лимона сильно припахивало луком.

— Превосходно! — ликовал Антон Павлович. — А вы вот жалуетесь, что сюжетов мало. Да разве это не сюжет? Тут на целый рассказ материала.

Перед глазами у нас, я помню, была грязная пустая стена, выкрашенная когда-то масляной краской. На ней ничего не было, кроме старой копоти да еще на некотором уровне широких, темных и сальных пятен: это извозчики во время чаепития прислонялись к ней в этих местах своими курчавыми головами, жирно смазанными для щика деревянным маслом, по обыкновению того времени, и оставляли следы на стене на многие годы.

С этой стены и пошел разговор о писательстве.

— Как так, сюжетов нет?—настаивал на своем Антон Павлович. — Да все — сюжет, везде сюжет. Вот

Посмотрите на эту стену. Ничего интересного в ней нет, кажется. Но вы взгляните в нее, найдите в ней что-нибудь *свое*, чего никто еще в ней не находил, и опишите это. Уверяю вас, хороший рассказ может получиться. И о луне можно написать хорошо, а уж на что тема затрепанная. И будет интересно. Только надо все-таки увидеть и в луне что-нибудь *свое*, а не чужое, и не избитое.

— А вот это разве не сюжет? — указал он в окошко на улицу, где стало уже светать. — Вон, смотрите: идет монах с кружкой собирать на колокол... Разве не чувствуете, как сама завязывается хорошая тема?.. Тут есть что-то трагическое — в черном монахе на бледном расвете...

За чаем, который благодаря лимону тоже отдавал немножко луком, разговор перекидывался с литературы на жизнь, с серьезного на смешное. Между прочим, Чехов уверял нас, что никакой «детской» литературы не существует.

— Везде только про Шариков да про Барбосов пишут. Какая же это «детская»? Это какая-то «собачья» литература! — шутил Антон Павлович, стараясь говорить как можно серьезнее.

И сам же вскоре написал «Каштанку» и «Белолобого» — про собак.

Гиляровский много острил, забрасывал хлесткими экспромтами, и время летело незаметно.

Стало уже совсем светло. Улица оживилась. Мне было хорошо и радостно. Как сейчас вижу молодое, милое лицо Чехова, его улыбающиеся глаза. Таким жизнерадостным, как в эту первую встречу, я никогда уже, во всю жизнь, Антона Павловича не видал.

К молодым писателям Чехов относился всегда благожелательно и ко многим очень сердечно. Всегда говорил, что писателю нельзя сидеть в четырех стенах и вытягивать из себя свои произведения, что необходимо видеть жизнь и людей, слышать подлинные человеческие слова и мысли и обрабатывать, а не выдумывать их.

— Поезжайте в Японию, — говорил он одному. — Поезжайте в Австралию, — советовал другому.

Вспоминается, как встретились мы однажды в вагоне. Встреча была совершенно случайная. Он ехал к себе

в Лопасню, где жил на хуторе, а я — в подмосковную дачную местность Царицыно, снимать дачу на лето.

— Не ездите на дачу, ничего там интересного не найдете, — сказал Чехов, когда узнал мою цель. — Поезжайте куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за две, за три. Ну, хоть в Азию, что ли, на Байкал. Вода на Байкале бирюзовая, прозрачная: красота! Если времени мало, поезжайте на Урал: природа там чудесная. Перешагните непременно границу Европы, чтобы почувствовать под ногами настоящую азиатскую землю и чтоб иметь право сказать самому себе: «Ну, вот я и в Азии!» А потом можно и домой ехать. И даже на дачу. Но дело уже будет сделано. Сколько всего узнаете, сколько рассказов привезете! Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих почтовых станциях и в избах, совсем как в пушкинские времена; и клопы вас будут заедать. Но это хорошо. После скажете мне спасибо. Только по железным дорогам надо ездить непременно в третьем классе, среди простого народа, а то ничего интересного не услышите. Если хотите быть писателем, завтра же купите билет до Нижнего. Оттуда — по Волге, по Каме...

Он начал давать практические советы, как будто вопрос о моей поездке был уже решен. На станции Царицыно, когда я выходил из вагона, Антон Павлович прощанье опять сказал:

— Послушайтесь доброго совета, купите завтра билет до Нижнего.

Я послушался и через несколько дней уже плыл по реке Каме, без цели и назначения, направляясь пока в Пермь. Дело было в 1894 году. За Уралом я увидел изумительную жизнь наших переселенцев, почти сказочные невзгоды и тягости народной, мужицкой жизни. И когда я вернулся, у меня был готов целый ряд сибирских рассказов, которые и открыли тогда передо мной впервые страницы толстых журналов.

Нередко Чехов говорил о революции, которая неизбежно и скоро будет в России. Но до 1905 года он не дождался.

— Поверьте, через несколько лет у нас не будет самодержавия, вот увидите.

Недаром же в пьесе его «Три сестры» говорится: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, гото-

вится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку». А в дальнейшем он предвидел необычайный расцвет народной жизни и счастливое, радостное будущее человечества. И во все это верил он крепко.

Прошло немало лет от первой нашей встречи. Мы видались в Москве — то у издателя И. Д. Сытина, то в Докторском клубе, то у него в доме, где он любил угощать горячей картошкой, печеной на углях, и старым крымским «губонинским» кляретом. Бывал Антон Павлович и у меня, на нашей литературной «Среде», которую всегда интересовался и всегда расспрашивал о ней. Видались мы и в Крыму, у него на даче в Аутке, где он был уже серьезно больным и где среди красот южной природы, среди вечнозеленых кипарисов и цветущих персиков любил помечтать о московском сентябрьском дождичке, о березах и ветлах, об илистом пруде с карасями, о том, как хорошо обдумывать свои повести и пьесы, глядя на поплавок и держа в руке удочку. Пытался он в своем крымском саду, в память о Москве, насаждать молодые березки и другие северные деревца, но я не знаю, принялись ли они, и целы ли теперь. Помню, как в этом ялтинском кабинете мне был вручен именной рецепт в ялтинскую аптеку на порошки от кашля, за подписью «доктора А. Чехова». Аптечная сигнатурка у меня сохраняется.

Несмотря на болезнь, Чехов любил всякие шутки, пустячки, приятельские прозвища, и вообще охотник был посмеяться и похохотать.

В 1900 году в Москве образовался у нас товарищеский кружок литераторов под именем «Среда». Большинство виднейших молодых писателей того времени, как Горький, Леонид Андреев, Вересаев, Бунин, Скиталец, Куприи, были постоянными посетителями наших собраний. Не чуждались их и более старшие писатели — Короленко, Златовратский, Мамин-Сибиряк... Хотя Чехов жил в Ялте, но всегда интересовался кружком и требовал, чтобы я писал ему о наших новостях. Рядом с серьезными и деловыми беседами у нас допускались и шутки. Так в одну из зим появились у нас шуточные прозвища нашим постоянным товарищам. Но прозвища эти

дозволялось выбирать только из существующих названий тогдашних улиц, площадей и переулков; это называлось у нас «давать адреса».

Например, писателю Гославскому за его обычное безмолвие во время споров дали название: «Большая Молчановка», а другого товарища, наоборот, — за пристрастие к речам прозвали «Самотека». Старику Златовратскому дан был сначала адрес: «Старые Триумфальные ворота», но потом переменили на «Патриаршие пруды». Редактору «Русской мысли» Гольцеву, по некоторым причинам, дали адрес «Девичье поле», но вскоре изменили на «Бабий городок». Тимковский назывался «Зацепя», театральный критик Сергей Глаголь был «Брехов переулок», а Шаляпин был — «Разгуляй». Бунин, отчасти за свою худобу, отчасти за острословие, от которого иным приходилось солоно, назывался «Живодерка», а кроткий Белоусов — «Пречистенка». Вересаев — за твердость взглядов был «Каменный мост», Серафимович за свою лысину назывался — «Кудрино», Куприн за пристрастие к лошадям и к цирку — «Конная площадь», а только что начинавший тогда Леонид Андреев получил адрес: «Большой Новопроектированный переулок». В таком же роде были прозваны и многие другие товарищи.

Над этими адресами, помню, потешался и хохотал Чехов, когда однажды в его ялтинском кабинете я докладывал ему о них, как о новинках только что минувшего сезона.

— А меня как прозвали? — с интересом спрашивал Антон Павлович, готовясь смеяться над собственным адресом.

— Вас не тронули. Вы без адреса.

— Ну это жалко! — разочарованно говорил он. — Это очень досадно. Приедете в Москву, непременно прозовите меня. Только, пожалуйста, без всяких церемоний: чем смешнее, тем лучше. И напишите — как. Доставите удовольствие.

Когда он узнал, что Миролюбову, издателю «Журнала для всех», за его колоссальный рост дали адрес: «Каланчевская площадь», то с улыбкой заметил:

— Вот Глеб Успенский его тоже великолепно окре-

стил. Совершенно невероятным именем, но метко: «Пирамидальный буйвол» — вот это сказано!

Помню также, как хохотал он, в том же ялтинском кабинете, над одним из своих давнишних рассказов. Однажды весенним вечером, года за два до смерти, Антон Павлович созвал нас к себе. Тут были Горький, Бунин, Елпатьевский... После ужина Бунин, или «Букишон», как ласково называл его Чехов, предложил прочитать вслух один из давних рассказов Чехонте, который А. П. давно забыл. Бунин, надо сказать, мастерски читал чеховские рассказы. И он начал читать.

Трогательно было видеть, как Антон Павлович сначала хмурился, неловко ему казалось слушать свое же сочинение, потом стал невольно улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем мягком кресле, но молча, стараясь сдержаться.

— Вам хорошо, теперешним писателям, — нередко говорил он, полушутя, полусерьезно. — Вас теперь хвалят за небольшие рассказы. А меня, бывало, ругали за это. Да как ругали! Бывало, коли хочешь называться писателем, так пиши роман, а иначе о тебе и говорить и слушать не станут, и в хороший журнал не пустят. Это я вам всем стену лбом прошибал для маленьких рассказов.

Его доброжелательное отношение к писателям более молодым, чем он сам, и ласковое внимание к ним сказывалось во всем. Вот для примера письмо его ко мне от февраля 1903 года из Ялты: «...В «Словаре русского языка», изд. Академией наук, в шестом выпуске второго тома, мною сегодня полученного, показались и Вы. Так на странице 1626, после слова «западать»: «Из глаз полились холодные слезы и крупными каплями западали на усталую грудь. Телешов. «Фантастические наброски». Вот еще, на стр. 1814, после слова «запустить»: «Повозки снова тронулись в путь по запущенной свежим снегом дороге. Телешов. «На тройках». И еще на стр. 1849, после слова «заревом»: «Множество свечек горит перед образом, отливаясь мягким заревом на облачении попа. Телешов. «Именины». Стало быть, с точки зрения составителей словаря, Вы писатель образцовый, таковым и останетесь теперь на веки вечные... Крепко жму Вашу руку и желаю всего хорошего»...

«Это был обаятельный человек: скромный, милый». Так отзывался о Чехове Л. Н. Толстой. И действительно, это был человек безусловно милый, очень скромный и сдержанный, даже строгий к самому себе. Так, например, когда он был очень болен, и табачный дым в его комнате был для него ядом, он не мог и не решался сказать никому, кто дымил у него папиросой: «Бросьте. Не отравляйте меня. Не заставляйте меня мучиться». Он ограничился только тем, что повесил на стене, на видном месте, записку: «Просят не курить». И терпеливо молчал, когда некоторые посетители все-таки курили.

В свою очередь к Толстому Антон Павлович относился всегда особенно уважительно и с любовью.

— Я боюсь смерти Толстого, — признавался он в 1900 году, когда Лев Николаевич опасно заболел. — Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором, даже сознавать, что ничего не сделал и не сделаешь, — не так страшно, так как Толстой делает за всех. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, всякие озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения...»³.

Избранный в почетные академики, Чехов написал, как известно, резкий отказ от этого почетного звания, когда узнал, что Горький, также избранный в почетные академики, в этом звании не утвержден царским правительством по приказу самого царя Николая. Только Чехов и Короленко имели мужество поступить так. Иные академики смиренно промолчали и продолжали пользоваться почетом.

Вспоминается случайный разговор с одним стариком, — крестьянином из Лопасни, где Антон Павлович никому не отказывал в медицинской помощи. Старик был кустарь, шелкомотальщик, человек, видимо, зажиточный. Сидели мы рядом в вагоне Курской дороги, в третьем классе, на жесткой скамейке, и по-соседски раз-

говорились от нечего делать. Узнав, что он из Лопасни, я сказал, что у меня есть там знакомый.

— Кто такой?

— Доктор Чехов.

— А... Антон Павлыч! — весело улыбнулся старик, точно обрадовался чему-то. Но сейчас же нахмурился и сказал: — Чудак-человек! — и добавил уже вовсе строго и неодобрительно: — Бестолковый!

— Кто бестолковый?

— Да Антон Павлыч! Ну, скажи, хорошо ли: жену мою, старуху, ездил-ездил лечить — вылечил. Потом я захворал — и меня лечил. Даю ему денег, а он не берет. Говорю: «Антон Павлыч, милый, что ж ты это делаешь? Чем же ты жить будешь? Человек ты не глупый, дело свое понимаешь, а денег не берешь — чем тебе жить-то?..» Говорю: «Подумай о себе, куда ты пойдешь, если, неровен час, от службы тебе откажут? Со всяким это может случиться. Торговать ты не можешь; ну, скажи, куда денешься, с пустыми-то руками?..» Смеется и — больше ничего. «Если, говорит, меня с места прогонят, я тогда возьму и женюсь на купчихе». — «Да кто, — говорю, — кто за тебя пойдет-то, если ты без места окажешься?» Опять смеется, точно не про него и разговор.

Старик рассказывал, а сам крутил головой и вздыхал, а то по-хорошему улыбался. Видно было, что он искренно уважает своего «бестолкового» доктора, только не одобряет его поведения.

— Да. Хороший он человек, Антон Павлыч. Только трудно ему будет под старость. Не понимает он, что значит жить без расчета.

Эту жизнь «без расчета» показал, между прочим, один существенный случай из жизни.

А. П. Чехов заключил с издателем «Нивы», Марксом, договор, по которому за 75 тысяч рублей все сочинения Чехова поступали в вечное владение издателя — не только прежние, но и все будущие, сейчас же после их напечатания в журнале, и Чехов не имел права передавать никому и никогда перепечатку своих произведений даже для благотворительных изданий. Когда стало

известно, что Маркс в первый же год от приложений к «Ниве» и от выпущенного отдельно собрания сочинений в 12 томах не только покрыл всю выданную им сумму Чехову, но и нажил сотни тысяч рублей, Горький написал Антону Павловичу письмо с предложением нарушить договор с Марксом.

«Пошлите-ка вы этого жулика Маркса ко всем чертям. Я от лица «Знания» и от себя предлагаю вам вот что: контракт с Марксом нарушьте, деньги, сколько взяли у него, отдайте назад и даже с лихвой, коли нужно. Мы вам достанем сколько хотите. Затем отдайте ваши книги печатать нам, то есть входите в «Знание» товарищем и издавайте сами. Вы получаете всю прибыль) и не несете хлопот по изданию, оставаясь в то же время полным хозяином ваших книг. Вы могли бы удешевить книги, издавая их в большем против Маркса количестве; вас теперь читают в деревнях, читает городская беднота и 1 р. 75 к. за книгу для этого читателя дорого. Голубчик, бросьте к чорту немца! Ей-богу, он вас грабит! Бесстыдно обворовывает! «Знание» может прямо гарантировать вам известный, определенный вами годовой доход, хоть в 25 000. Подумайте над этим, дорогой Антон Павлович...»

Говорят, что неотправленные письма нередко бывают интереснее и значительнее отправленных. Если это и не совсем так, или не всегда так, то, во всяком случае, письмо, написанное группой известных писателей, хотя бы и не отправленное по адресу вследствие особых причин, может представлять собой документ, не лишенный интереса. Одно из таких неотправленных писем, содержание которого связано с памятью Чехова, находилось у меня несколько лет, и о нем знали лишь немногие. Письмо относится к тому далекому теперь времени, когда литературные друзья Чехова готовились к его 25-летию юбилею. Над составлением письма немало потрудились Леонид Андреев и Максим Горький. По мысли инициаторов, под этим текстом предполагалось собрать подписи всей писательской и артистической Москвы, затем передать в Петербург и собрать там дальнейшие подписи. Бумагу, подписанную крупными представителями науки, литературы, художеств, музыки, театра, а также общественными деятелями, уполномочены

были подать издателю «Нивы»; А. Ф. Марксу, писатели Гарин-Михайловский и Ашешов и добиться от него определенного ответа к моменту юбилейного чествования.

Вот подлинный текст этого письма к Марксу:

«В настоящий момент, когда вся Россия готовится праздновать четвертьвековой юбилей А. П. Чехова, с особенной силой выдвигается вопрос, которым в последнее время болезненно интересуется русское общество и товарищи Антона Павловича. Дело заключается в поразительном и недопустимом несоответствии между деятельностью и заслугами Антона Павловича перед родной страной, с одной стороны, и необеспеченностью его материального положения — с другой.

25 лет работает А. П. Чехов, 25 лет неустанно будит он совесть и мысль читателя своими прекрасными произведениями, облитыми живою кровью его любящего сердца, и он должен пользоваться всем, что дается в удел честным работникам — должен, иначе всем нам будет стыдно. Создав ряд крупных ценностей, которые на Западе дали бы творцу их богатство и полную независимость, Антон Павлович не только не богат — об этом не смеет думать русский писатель, — он просто не имеет того среднего достатка, при котором много поработавший и утомленный человек может спокойно отдохнуть без думы о завтрашнем дне. Иными словами, он должен жить тем, что зарабатывает сейчас — печальная и незаслуженная участь для человека, на которого обращены восторженные взоры всей мыслящей России, за которым, как грозный укор, стоят 25 лет исключительных трудов, ставящих его в первые ряды мировой литературы. Со всем недавно, на наших глазах, маленькая страна, Польша, сумела проявить дух великой человечности, щедро одарив Генриха Сенкевича в его юбилейный год, неужели в огромной России Антон Павлович будет предоставлен капризу судьбы, лишившей его законнейших его прав?..

Нам известен ваш договор с А. П. Чеховым, по которому все произведения его поступают в полную вашу собственность за 75 000 рублей, причем и будущие его произведения не свободны: по мере появления своего они поступают в вашу собственность за небольшую пла-

ту, не превышающую обычного его гонорара в журналах, — с тою только огромной разницей, что в журналах они печатаются раз, а к вам поступают навсегда. Мы знаем, что за год, протекший с момента договора, вы в несколько раз успели покрыть сумму, уплаченную вами А. П. Чехову за его произведения: помимо отдельных изданий, рассказы Чехова, как приложение к журналу «Нива», должны были разойтись в сотнях тысяч экземпляров и с избытком вознаградить вас за все понесенные вами издержки. Далее, принимая в расчет, что в течение многих десятков лет вам предстоит пользоваться доходами с сочинений Чехова, мы приходим к несомненному и печальному выводу, что А. П. Чехов получил крайне ничтожную часть действительно заработанного им. Бесспорно нарушая имущественные права вашего контрагента, указанный договор имеет и другую отрицательную сторону, не менее важную для общей характеристики печального положения Антона Павловича: обязанность отдавать все свои новые вещи вам, хотя бы другие издательства предлагали неизмеримо большую плату, должна тяжелым чувством зависимости ложиться на А. П. Чехова и несомненно отражаться на продуктивности его творчества. По одному из пунктов договора Чехов платит неустойку в 5000 рублей за каждый печатный лист, отданный им другому издательству. Таким образом, он лишен возможности давать свои произведения даже дешевым народным издательствам. И среди копеечных книжек, идущих в народ и на обложке своей несущих имена почти всех современных писателей, нет книжки с одним только дорогим именем — именем А. П. Чехова.

И мы просим вас, в этот юбилейный год, исправить невольную, как мы уверены, несправедливость, до сих пор тяготевшую над А. П. Чеховым. Допуская, что в момент заключения договора вы, как и Антон Павлович, могли не предвидеть всех последствий сделки, мы обращаемся к вашему чувству справедливости и верим, что формальные основания не могут в данном случае иметь решающего значения. Случаи расторжения договоров при аналогичных обстоятельствах уже бывали; достаточно вспомнить Золя и его издателя Фескеля. Заключив договор с Золя в то время, когда последний не вполне еще

определился как крупный писатель, могущий рассчитывать на огромную аудиторию, Фескель сам расторг этот договор и заключил новый, когда Золя занял во французской литературе подобающее ему место. И новый договор дал покойному писателю свободу и обеспеченность.

Для фактического разрешения вопроса мы просим принять наших уполномоченных: Н. Г. Гарина-Михайловского и Н. П. Ашешова.

Подписали бумагу: Федор Шалапин, Леонид Андреев, Ю. Бунин, И. Белоусов, А. Серафимович, Е. Гославский, Сергей Глаголь, П. Кожевников, В. Вересаев, А. Архипов, Н. Телешов, Ив. Бунин, Виктор Гольцев, С. Найденов, Евгений Чириков».

Были все основания считать, что успех переговоров обеспечен, и освобождение Чехова казалось уже почти фактом.

Не вспомню теперь, как именно произошло все это: показали ли Чехову копию письма, или вообще передали ему о предполагаемом обращении к Марксу по поводу его освобождения, но только вскоре выяснилось, что дальнейшие подписи собирать не надо, потому что Антон Павлович, узнав про письмо, просил не обращаться с ним к Марксу. Не ручаюсь за достоверность, но вспоминается мне, что говорилось тогда о таких приблизительно словах самого Антона Павловича при отказе:

— Я своей рукой подписывал договор с Марксом, и отрекаться мне от него неудобно. Если я продешевил, то, значит, я и виноват во всем: я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду осторожнее.

Тем дело и кончилось. Подлинное письмо с писательскими автографами задержалось и осталось у меня вместе со списком, к кому идти за дальнейшими подписями. Среди этих намеченных лиц значились: В. О. Ключевский, С. А. Муромцев, Ф. Н. Плевако, В. И. Сафонов, А. П. Ленский и многие из тех популярных в то время людей искусства и науки, кого теперь давно уже нет на свете. Да и из числа подписавших бумагу осталось в живых не более трех человек.

Подлинник этого письма со всеми автографами я пе-

редал в свое время в Чеховскую комнату при Публичной библиотеке (ныне Государственная библиотека СССР имени Ленина), где он теперь и находится.

Чехов и Художественный театр всегда были близки друг другу. С самого возникновения театра и до смерти писателя эти близость и дружба росли, а взаимное уважение и понимание крепили. Как драматург, Чехов был угадан, понят, разъяснен только одним Художественным театром. Его пьесы «Иванов» и прообраз «Дяди Вани» — «Леший» ставились в свое время на частных сценах Москвы, у Абрамовой и у Корша, но холодок среди зрителей и недоумение сопровождали эти постановки, а после знаменитого петербургского провала «Чайки»⁴, когда автор в ту же ночь уехал, почти убежал в Москву, дав себе слово никогда более не писать для театра, участь драматурга Чехова, казалось, была решена бесповоротно.

Но Художественный театр в 1898 году, в первый же год своей жизни, решил показать «Чайку» — по-своему. Он твердо верил в то новое, что давала никем не понятая чеховская пьеса, о которой Немирович-Данченко писал Чехову: «Это единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссера, а ты единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром».

С чувством огромной ответственности перед автором Художественный театр в великом волнении раздвинул перед публикой свой серый занавес, где горсть молодежи, недавних учеников и недавних «любителей», начала мужественно разрушать предвзятые мнения. Но кончился акт, и занавес закрылся при гробовом молчании. Артисты пугливо прижимались друг к другу и прислушивались к публике. Но там тишина, ни звука, ни хлопка. Значит — провал?..

— Удрученные, мы двинулись за кулисы, — рассказывают участники этого спектакля. — Кто-то среди женщин заплакал...

И в этот момент после молчания вдруг загремели аплодисменты, бурные, восторженные, почти небывалые. Оцепенение прошло, и восторг зрителя вырвался наружу. Победа была полная, потрясающая.

Через год театр ставит вторую пьесу Чехова — «Дядю Ваню», и этот спектакль становится самым любимым в Москве. Никто, однако, не мог воссоздать рассказами ни действительных образов, ни передать автору действительное впечатление от исполнения и постановки пьесы. Надо было показать этот спектакль ему самому, чтобы он мог оценить и почувствовать его. И Художественный театр избирает местом своих гастролей именно Крым и едет в Севастополь с намерением показать «Дядю Ваню» своему любимому писателю.

Лично я не был свидетелем этого севастопольского спектакля, так как жил в это время в Ялте, но вскоре слышал от самого Антона Павловича, что он был очень доволен и тронут, хотя из присущей ему авторской скромности и не выражал этого открыто.

После гастролей артисты переехали в Ялту на отдых, где съехалось и жило в то время немало писателей. Помню, был Горький с семьей, Елпатьевский, Мамин-Сибиряк, Куприи, Найденов, Бунин, Скиталец... На другой же день по приезду труппы, в городском саду был устроен товарищеский обед, в котором участвовали артисты и писатели. Все перезнакомились, и это было началом крепкого сближения театра с Горьким, у которого уже созрел план пьесы «На дне». Осенью пьеса была закончена и прочитана на «Среде», а затем поставлена в Художественном театре. Сначала она называлась «На дне жизни» и под этим заглавием была напечатана за границей.

Известно, что Л. Н. Толстой, любя и уважая А. П. Чехова как писателя и как человека, к пьесам его относился отрицательно, хотя и приходил их смотреть. В 1900 году Лев Николаевич видел в Художественном театре пьесу «Дядя Ваня». По окончании спектакля он был за кулисами, где расписался в книге почетных посетителей.

Весь Чехов, как драматург, был показан и раскрыт Художественным театром: «Чайка», «Дядя Ваня», «Иванов», «Три сестры», «Вишневый сад» и даже инсценировки некоторых рассказов, в виде миниатюр, ставились на сцене МХАТ.

Как относился Художественный театр к творчеству Чехова, ясно видно из речи Станиславского на десяти-

летнем юбилее театра. Он говорил: «От Чехова из Ялты прилетела к нам Чайка; она принесла нам счастье и указала новые пути в нашем искусстве». А в речи Немировича-Данченко, обращенной к Чехову на премьере «Вишневого сада» в 1904 году, это отношение высказано еще более определенно: «Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: «Это мой театр».

Чехов всегда любил и высоко ценил Художественный театр. Он говорил, что Художественный театр — это лучшие страницы той книги, которая когда-либо будет написана о современном русском театре. Среди его писем к Немировичу-Данченко встречаются даже такие полушутливые строки: «Я готов быть швейцаром в вашем театре». Или еще: «Я завидую той крысе, которая живет под стенами вашего театра». Такие пьесы, как «Чайка» и «Дядя Ваня», с первых же дней помогли Художественному театру найти верные пути к вниманию и к сердцу своего зрителя, помогли ему быть тем и таким, каким он стал. После премьеры «Вишневого сада» в Москве говорили:

— Художественный театр сделал Чехова сценичным, а Чехов сделал Художественный театр — художественным. Какое счастье выпало на долю драматурга! Какое счастье выпало на долю театра!

Так говорила Москва. Чехов и МХАТ слились воедино и стали немыслимы один без другого.

Последняя наша встреча была в Москве, накануне отъезда Чехова за границу. Случилось так, что я зашел к нему днем, когда в квартире как раз никого не было, кроме прислуги. Перед отъездом было много всяких забот, и все его семейные хлопотали безустали.

Я уже знал, что Чехов очень болен, — вернее, очень плох, и решил занести ему только прощальную записку, чтоб не тревожить его. Но он велел догнать меня иворотил уже с лестницы.

Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидал, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами,

с узким бескровным лицом—до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.

Он сказал другое, не это слово, более жестокое, чем «умирать», которое не хотелось бы сейчас повторить.

— Умирать еду, — действительно говорил он. — Поклонитесь от меня товарищам вашим по «Среде». Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успехов. Больше уже мы не встретимся.

Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах.

— А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте.

Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Было это так ясно. Я боялся заговорить в эти минуты полным голосом, боялся зашуметь-сапогами. Нужна была какая-то нежная тишина, нужно было с открытой душой принять те немногие слова, которые были, несомненно, для меня последними и исходили от чистого и прекрасного — чеховского сердца.

На другой день он уехал.

А месяца через два, в Баденвейлере, вечером 15 июля, когда все средства борьбы были уже исчерпаны, доктор велел дать больному шампанского. Но ведь больно́й был сам доктор и понимал значение этой меры. Он сел и как-то значительно и громко сказал доктору по-немецки: «Я умираю». Потом взял бокал, повернулся лицом к жене и с улыбкой проговорил последние слова в жизни:

— Давно я не пил шампанского...

По словам жены, он покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навеки.

Затем — торжественные проводы из чужой земли, а у нас, на границе, казенное принятие гроба русскими железнодорожными властями, мало знакомыми даже с именем Чехова... Непростительное, грубое и дикое назначение «вагона для устриц», в котором с этой самой

надписью, варварской для настоящего случая, и прибыло в Петербург тело писателя, почти без всякой встречи из-за перепутанных телеграмм. И только на другой день, уже в Москве, огромные толпы народа, запрудившие всю вокзальную площадь, переполненные депутациями платформы с венками и цветами сказали первое общественное слово о значительности потери.

Как близкого, как любимого и родного, всей Москвой встретили мы и проводили Чехова до его могилы в Новодевичьем монастыре.

И вот прошло уже более сорока лет со дня его смерти, а имя Чехова не бледнеет. Наоборот, — становится все более и более дорогим и славным и не только на родине, среди нас, но и во всем культурном мире.

Творчество Чехова многогранно, лирика его поэтична, юмор его неисчерпаем, а вера в лучшее будущее человечества непоколебима.

«Глава о Чехове еще не кончена, — писал в свое время Станиславский. — Ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность и преждевременно закрыли книгу. Пусть же ее раскроют вновь и дочтут до конца».

И время такое настало. Вся страна чтит память своего великого писателя, а любимая им Москва, по распоряжению советского правительства, готовит ему достойный памятник на одной из лучших своих площадей.

Недаром Лев Николаевич Толстой говорил о нем:
— Чехов — это Пушкин в прозе!

Н. ТЕЛЕШОВ. «А. П. ЧЕХОВ»

Воспоминания писателя Николая Дмитриевича Телешова (р. в 1867 г.) напечатаны в книге Н. Телешова «Записки писателя», М., Гослитиздат, 1943. Для настоящего издания текст заново просмотрен и исправлен автором.

¹ Имеется в виду рассказ «Свадьба с генералом», напеч. в «Осколках» 1884 г. 15 декабря, № 50, переделанный в 1889 г. в водевиль «Свадьба».

² Белоусов Иван Алексеевич (1863—1929), поэт.

³ Из письма М. О. Меншикову от 28 января 1900 г.

⁴ См. примечание 6 к воспоминаниям Станиславского.